

Викентий Вересаев

# Без дороги



Викентий Вересаев

**Без дороги**

«Public Domain»

1895

## **Вересаев В. В.**

Без дороги / В. В. Вересаев — «Public Domain», 1895

«Теперь уже три часа ночи. В ушах звучат еще веселые девические голоса, сдерживаемый смех, шепот... Они ушли, в комнате тихо, но самый воздух, кажется, еще дышит этим молодым, разжигающим весельем, и невольная улыбка просится на лицо. Я долго стоял у окна. Начинало светать, в темной, росистой чаще сада была глубокая тишина; где-то далеко, около риги, лаяли собаки... Дунул ветер, на вершине липы обломился сухой сучок и, цепляясь за ветви, упал на дорожку аллеи; из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника. Как хорошо! Я стою и не могу насмотреться; душа через край переполнена тихим, безотчетным счастьем...»

# Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	17

# Викентий Вересаев

## Без дороги

### Часть первая

*20 июня 1892 года. С-цо Касаткино*

Теперь уже три часа ночи. В ушах звучат еще веселые девические голоса, сдерживаемый смех, шепот... Они ушли, в комнате тихо, но самый воздух, кажется, еще дышит этим молодым, разжигающим весельем, и невольная улыбка просится на лицо. Я долго стоял у окна. Начинало светать, в темной, росистой чаще сада была глубокая тишина; где-то далеко, около риги, лаяли собаки... Дунул ветер, на вершине липы обломился сухой сучок и, цепляясь за ветви, упал на дорожку аллеи; из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника. Как хорошо! Я стою и не могу насмотреться; душа через край переполнена тихим, безотчетным счастьем.

И грудь вздыхает радостней и шире,  
И вновь кого-то хочется обнять...

Кругом все так близко знакомо – и очертания деревьев, и соломенная крыша сарая, и отпряженная бочка с водой под липами. Неужели я целых три года не был здесь? Я как будто видел все это вчера. А между тем как долго шло время...

Да, мало что хорошего вспомнишь за эти прожитые три года. Сидеть в своей раковине, со страхом озираться вокруг, видеть опасность и сознавать, что единственное спасение для тебя – уничтожиться, уничтожиться телом, душою, всем, чтоб ничего от тебя не осталось... Можно ли с этим жить? Невесело сознаваться, но я именно в таком настроении прожил все эти три года.

«Зачем я от времени зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня». Мне часто вспоминаются эти гордые слова Базарова. Вот были люди! Как они верили в себя! А я, кажется, настоящим образом в одно только и верю это именно в неодолимую силу времени. «Зачем я от времени зависеть буду!» Зачем? Оно не отвечает; оно незаметно захватывает тебя и ведет, куда хочет; хорошо, если твой путь лежит туда же, а если нет? Сознавай тогда, что ты идешь не по своей воле, протестуй всем своим существом, – оно все-таки делает по-своему. Я в таком положении и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со всех сторон охватывало меня, и я со страхом видел, что оно посягает на самое для меня дорогое, посягает на мое мирозерцание, на всю мою душевную жизнь... Гартман говорит, что убеждения наши – плод «бессознательного», а умом мы к ним лишь подыскиваем более или менее подходящие основания; я чувствовал, что там где-то, в этом неуловимом «бессознательном», шла тайная, предательская, неведомая мне работа и что в один прекрасный день я вдруг окажусь во власти этого «бессознательного». Мысль эта наполняла меня ужасом: я слишком ясно видел, что правда, жизнь все в *моем* мирозерцании, что если я его потеряю, я потеряю все.

То, что происходило кругом, лишь укрепляло меня в убеждении, что страх мой не напрасен, что сила времени – сила страшная и не по плечу человеку. Каким чудом могло случиться, что в такой короткий срок все так изменилось? Самые светлые имена вдруг потускнели, слова самые великие стали пошлыми и смешными; на смену вчерашнему поколению явилось новое, и не верилось: неужели *эти* – всего только младшие братья, вчерашних. В литературе медленно, но непрерывно шло общее заворачивание фронта, и шло вовсе не во имя каких-либо новых начал, – о нет! Дело было очень ясно: это было лишь ренегатство – ренегатство общее, массо-

вое и, что всего ужаснее, бессознательное. Литература тщательно оплевывала в прошлом все светлое и сильное, но оплевывала наивно, сама того не замечая, воображая, что поддерживает какие-то «заветы»; прежнее чистое знамя в ее руках давно уже обратилось в грязную тряпку, а она с гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала к ней читателя; с мертвым сердцем, без огня и без веры, говорила она что-то, чему никто не верил...

Я с пристальным вниманием следил за всеми этими переменами; обидно становилось за человека, так покорно и бессознательно идущего туда, куда его гонит время. Но при этом я не мог не видеть и всей чудовищной уродливости моего собственного положения: отчаянно стараясь стать *выше времени* (как будто это возможно!), недоверчиво встречая всякое новое веяние, я обрекал себя на мертвую неподвижность; мне грозила опасность обратиться в совершенно «обессмысленную щепку» когда-то «победоносного корабля». Путаясь все больше в этом безвыходном противоречии, заглушая в душе горькое презрение к себе, я пришел, наконец, к результату, о котором говорил: уничтожиться, уничтожиться совершенно единственное для меня спасение.

Я не бичую себя, потому что тогда непременно начнешь лгать и преувеличивать; но в этом-то нужно сознаться, – что такое настроение мало способствует уважению к себе. Заглянешь в душу, – так там холодно и темно, так гадко-жалок этот бессильный страх перед окружающим! И кажется тебе, что никто никогда не переживал ничего подобного, что ты – какой-то странный урод, выброшенный на свет теперешним странным, неопределенным временем... Тяжело жить так. Меня спасала только работа; а работы мне, как земскому врачу, было много, особенно в последний год, – работы тяжелой и ответственной. Этого мне и нужно было; всем существом отдаться делу, *наркотизироваться* им, совершенно забыть себя – вот была моя цель.

Теперь служба моя кончилась. Кончилась она неожиданно и довольно характерно. Почти против воли я стал в земстве каким-то *enfant terrible*,<sup>1</sup> председатель управы не мог равнодушно слышать моего имени. Подоспел голодный тиф; я проработал на эпидемии четыре месяца и в конце апреля свалился сам, а когда поправился... то оказалось, что во мне больше не нуждаются. Дело сложилось так, что я должен был уйти, если не хотел, чтоб мне плевали в лицо... Э, да что вспоминать! Я взял отставку и вот приехал сюда. Забыть все это!..

Большая зала старинного помещичьего дома, на столе кипит самовар; висячая лампа ярко освещает накрытый ужин, дальше, по углам комнаты, почти совсем темно; под потолком сонно гудят и жужжат стаи мух. Все окна раскрыты настежь, и теплая ночь смотрит в них из сада, залитого лунным светом; с реки слабо доносятся женский смех и крики, плеск воды.

Мы ходим с дядей по зале. За эти три года он сильно постарел и растолстел, покрывает после каждой фразы, но радушен и говорлив по-прежнему; он рассказывает мне о видах на урожай, о начавшемся покосе. Сильная, румяная девка, с платочком на голове и босая, внесла шипящую на сковороде яичницу; по дороге она отстранила локтем полузакрытую дверь; стаи мух под потолком всколыхнулись и загудели сильнее.

– А вот у нас одно есть, чего у вас нету, – сказал дядя, улыбаясь и смотря на меня своими выпуклыми близорукими глазками.

– Что это? – спросил я, сдерживая улыбку.

– Мухи!

Когда я еще студентом приезжал сюда на лето, дядя каждый раз слово в слово делал это же замечание.

Тетя Софья Алексеевна воротилась с купанья; еще за две комнаты слышен ее громкий голос, отдающий приказания.

<sup>1</sup> Буквально: ужасный ребенок; здесь – человек, позволяющий себе то, на что другие не отваживаются (*франц.*).

– Палашка! возьми простыню, повесь на дверь в спальне! Да зовите мальчиков к ужину, где они?... Котлеты подавайте, варенец, сливки с погребом... Скорей! Где Аринка? А, яичницу уже подали, – говорит она, торопливо входя и садясь к самовару. – Ну, господа, чего же вы ждете? Хотите, чтоб остыла яичница? Садитесь!

Софья Алексеевна одета в старую синюю блузу, ее лицо сильно загорело, и все-таки она всем своим обликом очень напоминает французскую маркизу прошлого столетия; ее поседевшие волосы, пушистою каймою окружающие круглое лицо, выглядят как напудренные.

– А как же? Разве без барышень можно? – спросил дядя.

– Можно, можно! Пускай не опаздывают!

– Нет, это нельзя. Как же ты нас заставляешь нарушить рыцарский кодекс?

– Да ну, будет тебе! Ведь Митя голоден с дороги. Тоже – рыцарь! – сказала Софья Алексеевна с чуть заметной усмешкой.

– Ну, нечего делать: приказано, так надо слушаться. Что ж, сядем, Дмитрий? Вот выпьем водочки – и за яичницу примемся.

Он поставил рядом две рюмки и стал наливать в них из графинчика полыновку.

– А как водка будет по-латыни – aqua vitae? – спросил он.

– Да.

– Гм! «Вода жизни»... – Дядя несколько времени в раздумье смотрел на наполненные рюмки. – А ведь остроумно придумано! – сказал он, вскидывая на меня глазами, и засмеялся дребезжащим смехом. – Ну, будь здоров!

Мы чокнулись, выпили и принялись за еду.

– Где же, однако, барышни наши? – спросил дядя, с аппетитом пережевывая яичницу. – Я беспокоюсь.

– Ешь яичницу и не беспокойся. Барышни наши уж выкупались, – ответила тетя.

В саду под окнами раздались голоса, стеклянная дверь балкона звякнула и распахнулась.

– Ну, вот тебе и барышни наши: слава богу, за полверсты слышно.

Они шумно вошли в залу. Лица их после купанья свежи и оживленны, темные волосы Наташи влажны, и она длинным покрывалом распустила их по спине. Дядя увидел это и пришел якобы в негодование.

– Наташа, что это значит, что у тебя волосы распущены?

– Я ныряла, – быстро ответила она, садясь к столу.

– Так что ж такое?

– Соня, передай ветчину... Ну, так вот нужно, чтоб волосы просохли.

– Зачем это нужно? – изумленно спросил дядя и юмористически поднял брови. – Нет, взрослым девицам вовсе не подобает ходить с распущенными волосами! – сказал он, качая головой.

Но поучение его пропало даром; все были заняты едой и, удерживаясь от смеха, трунили почему-то над Лидой. Лида краснела и хмурилась, но когда Соня, проговорив: «спасайся, кто может!», вдруг прорвалась хохотом, то и Лида рассмеялась.

– Что это вы, Лида, в большой опасности находились? – вполголоса спросил я, невольно и сам улыбаясь.

Наташа быстро взглянула на меня и незаметно повела взглядом на отца; значит, здесь тайна, которую мне объяснят потом.

– А что же ты, Дмитрий, макарон к котлетам не взял? – спохватился дядя. – Дай я тебе положу.

Он наложил мне в тарелку макарон.

– У итальянцев макароны – самое любимое кушанье, – сообщил он мне.

Очень радушный хозяин дядя, но – признаться – скучновато сидеть между «большими», и, право, я давно знаю, что итальянцы любят макароны.

Пришли и мальчишки. Миша – пятнадцатилетний сильный парень, с мрачным, насупленным лицом – молча сел и сейчас же принялся за яичницу. Петька двумя годами моложе его и на класс старше; это крепыш невысокого роста, с большой головой; он пришел с книгой, сел к столу и, подперев скулы кулаками, стал читать.

– Ну, Митечка, рассказывай же, что ты это время поделявал, – сказала Софья Алексеевна, кладя мне руку на локоть.

Наташа подняла было голову и в ожидании устремила на меня глаза. Но мне так не хочется рассказывать...

– Ей-богу, тетя, ничего нет интересного; служил, лечил – вот и все... А скажите, – я сейчас через Шеметово ехал, – кто это там за околицей новую мельницу поставил?

– Да это же Устин наш, разве ты не знал? Как же, как же! Уж второй год работает мельница...

И начался длинный ряд деревенских новостей. В зале уютно, старинные, засиженные мухами часы мерно тикают, в окна светит месяц... Тихо и хорошо на душе. Все эти девчурки-подростки стали теперь взрослыми девушками; какие у них славные лица! Что-то представляет собою моя прежняя «девичья команда»? Так называла их всех Софья Алексеевна, когда я, студентом, приезжал сюда на лето...

С конца стола донесся ярый рев, от которого все вздрогнули.

– Что такое? – грозно крикнула тетя. – Кто это там?

– Это – я! – торжественно объявил Петька.

– Ну, конечно, так и есть: кому же еще? Я тебе, дрянь-мальчишка!

– Это я читать кончил, – объяснил Петька.

Дядя поднял голову и, словно только что проснулся, повел кругом глазами.

– Э... э... Что это? – спросил он, побрякивая. – Должно быть, Петька опять дикие звуки испускает, а?

Ему никто не ответил. Он крякнул и подложил себе в чай сахару. Петька сидел, развалился на стуле, и широко ухмылялся.

– Крик могучий, крик пернатый... я в своем сердце ощутил... Крик ужасный, крик... неясный... я из себя испустил... Кхе-кхе-кхе! Как хорошо вышло!

И, совершенно довольный, Петька придвинул к себе тарелку и стал накладывать творогу. Кругом смеялись, а он старательно разминал ложкою творог с сахаром, как будто не о нем совсем шло дело.

Чай отпили.

– А что, Вера Николаевна, усладите вы сегодня наш слух своею музыкой? спросил дядя.

Вера, племянница Софьи Алексеевны, – стройная, худощавая блондинка с матово-бледным лицом и добрыми глазами; она собирается осенью ехать в консерваторию, и, говорят, у нее действительно есть талант.

– Да, да, Вера, – сказал я. – Сыграйте-ка что-нибудь после ужина; я в Пожарске столько слышал о вашем таланте.

Вера встрепенулась.

– Ах, господи! Митя, я вам наперед говорю: если вы такие вещи говорить будете, я ни за что не стану играть!

– Да не беспокойтесь, пожалуйста, я вот сначала послушаю. Очень может быть, что после этого и не стану говорить.

Дядя засмеялся и встал из-за стола.

– Ну, кажется, все уже кончили. Докажите ему, Вера Николаевна, что и Пожарск может собственных Невтонов рождать!

Все перешли в гостиную. Вера села за рояль, быстро пробежала рукой по клавишам и с размаху сильно ударила пальцем в середине клавиатуры.



– Что же вам сыграть? – спросила она, повернув ко мне голову.

– Это всегда так знаменитые музыканты начинают! – почтительно произнес Петька и ткнул указательным пальцем в Верин палец, нажимавший клавишу.

– Да ну, Петя, будет! – рассмеялась она, стряхивая его руку.

Тетя отогнала Петьку от рояля.

Я попросил играть Бетховена. Наташа широко распахнула двери балкона. Из сада потянуло росой и запахом душистого тополя; в акации щелкал запоздалый соловей, и его песня покрылась громкими, дико-оригинальными бетховенскими аккордами. В зале, при свете маленькой лампочки, убирали чай. Дядя сопел на диване и слушал, выкатив глаза.

Я мало понимаю в музыке; я даже не мог бы сказать, горе или радость выражены в сонате, которую играла Вера; но что-то накапливает на сердце от этих чудных, непонятных звуков, и хорошо становится. Вспоминается прошлое; многое в нем кажется теперь чуждым и странным, как будто это другой кто жил за тебя. Я мучился тем, что нет во мне живого огня, я работал, горько смеясь в душе над самим собою... Да полно, прав ли я был? Все жили спокойно и счастливо, а я ушел туда, где много горя, много нужды и так мало поддержки и помощи; знают ли они о тех лишениях, тех нравственных муках, которые мне приходилось там терпеть? А я для этого сознательно отказался от довольной и обеспеченной жизни... И принес я с собой оттуда лишь одно – неизлечимую болезнь, которая сведет меня в могилу.

Вера играла. Ее бледное лицо смотрело сосредоточенно, только в углах губ дрожала лукавая улыбка; пальцы тонких, красивых рук быстро бегали по клавишам... О да! теперь бы и я мог уверенно сказать: сколько задорного, молодого счастья в этих звуках! Они знают не хотят никакого горя: чудно-хороша жизнь, вся она дышит красотой и радостью; к чему же выдумывать себе какие-то муки?... Вершины тополей, освещенные месяцем, каждым листиком вырисовывались в прозрачном воздухе; за рекою, на склоне горы, темнели дубовые кусты, дальше тянулись поля, окутанные серебристым сумраком. Хорошо там теперь. Дядя по-прежнему сопел, понурился головой. Дремлет ли он или слушает?

Ко мне неслышно подошла Наташа.

– Митя, пойдем мы сегодня гулять? – шепотом спросила она, близко наклонившись и блестя глазами.

– Конечно! – тихо ответил я. – А что, вам еще и теперь не позволяют гулять по вечерам?

Наташа с улыбкой наклонила голову, указала взглядом на отца и отошла.

Пальцы Веры с невозможною быстротою бегали по клавишам; бешено-веселые звуки крутились, захватывали и шаловливо уносили куда-то. Хотелось смеяться, смеяться без конца, и дурачиться, и радоваться тому, что и ты молод... Раздались громовые заключительные аккорды Вера опустила крышку рояля и быстро встала.

– Славно, Вера, ей-богу, славно! – воскликнул я, обеими руками крепко пожимая ее руки и любуясь ее счастливо улыбавшимся лицом.

Дядя поднялся с дивана и подошел к нам.

– Вера Николаевна своей музыкой, как Орфей в аду... укрощает камни... – любезно сказал он.

– Именно, именно, камни укрощает! – с мальчишеским чувством подхватил я. – За вашу музыку я вас сегодня гулять с собой возьму, – шутливо шепнул я ей.

– Благодарю! – ответила она, улыбаясь.

Дядя зевнул и вынул часы.

– Ого! уже скоро одиннадцать!.. Пора и на боковую. Как ты думаешь, Дмитрий? В деревне всегда надо рано ложиться и рано вставать. Покойной ночи! Как это?... э... э... *Leben Sie wohl*,

essen Sie Kohl, trinken Sie Bier, lieben Sie mir!..<sup>2</sup> Ххе-хе-хе-хе? – Дядя засмеялся и протянул мне руку. Немцы без *бира* никогда не обойдутся.

Он простился и ушел. Я стал перелистывать лежавшую на столе «Ниву»; остальные тоже делали вид, что чем-то заняты. Тетя окинула всех нас взглядом и засмеялась.

– Ну, Митя, вы, я вижу, гулять собираетесь! – сказала она, лукаво грозя пальцем.

Я расхохотался и захлопнул «Ниву».

– Тетя, посмотрите, какая ночь!

– Да, Митечка, ведь ты же больше суток в дороге был! Ну, где тебе еще гулять?

– Речь тут не обо мне, тетя...

– Стал ты доктором, а, право, все такой же, как прежде...

– Ну, значит, позволяете! – заключил я. – А мальчиков можно с собой взять?

– Э, да уж идите все! – махнула она рукой. – Только, господа, потише, чтоб папка не слышал, а то буря будет... Я велю вам в зале кринку молока оставить: может быть, проголодаетесь... Прощайте! Счастливого пути!

Мы спустились в сад.

– Ну, что же, господа, на лодке поедem? – шепотом спросил я.

– Конечно, на лодке!.. В Грёково, – быстро сказала Наташа. – Ах, Митя, ночь какая! Прогуляем сегодня до утра?...

Все были как-то особенно оживлены, – даже полная, сонливая Соня, старшая сестра Наташи. Мы свернули в темную боковую аллею; в ней пахло сыростью, и свет месяца еле пробивался сквозь густую листву акаций.

– Вот, Митя, потеха была сегодня! – смеясь, заговорила Наташа. – Выкупались мы перед ужином и переехали в лодке на ту сторону; возвратились назад, – я весла выбросила на берег, выпрыгнула сама и нечаянно ногою оттолкнула лодку. Лида сидела на корме, – вдруг как вскочит: «Ах, господи-батюшки! Спасайся, кто может!» – и как была, одетая, – в воду!

– Я испугалась: как бы мы без весел к берегу подъехали? – краснея, стала оправдываться Лида, сестра Веры.

Странная эта Лида: молчаливая и застенчивая, она краснеет при самом незначительном обращении к ней слове.

– И вся, вся замочилась, выше пояса! – хохотала Наташа. – Пришлось сбегать домой, принести ей сухое платье.

– «Спасайся, кто может!» Ххо-ххо-ххо! – в восторге засмеялся Петька и обеими руками крепко обнял Лиду за талию.

– Да ну; Петька, пошел прочь! – с досадой сказала Лида. – Вешается ко всем.

– Ах, Лида, Лида! За что ты меня ожесточаешь? – меланхолично произнес Петька. – Если бы ты могла знать чувства мужского сердца!

– Ну, Петька! Шут! – лениво засмеялась Соня.

Аллея кончалась калиточкой. За нею по косогору спускалась к реке узкая тропинка. Наташа неожиданно положила руки на плечи Веры и вместе с нею быстро побежала под гору.

– Ай!.. Ната-а-аша!!! – закричала Вера, испуганно смеясь и стараясь остановиться. Петька помчался следом за ними.

Когда мы сошли к реке, Вера, обессилевшая от смеха и усталости, сидела на лавочке под черемухой и, свесив голову, громко, протяжно охала. Петька сидел рядом и тоже старательно охал.

– Да ну, Петя. Ради бога!.. Ох! – стонала она, хватаясь за грудь. – Будет!.. Ох, не могу! О-о-ох!

– О-о-ох! – вторил Петька.

---

<sup>2</sup> Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня! (Немецкая поговорка.).

Вера морщилась и бессильно махала руками, и все-таки смеялась.

– Ну, Верка, размякла совсем! – презрительно сказала Наташа, стоя на корме лодки. – Настоящая рыба!

– Господа! Ведь нас не только в доме, а и в Санине слышно, – запротестовал я.

– Ну, садитесь скорей в лодку, а то мы одни уедем! – крикнула Наташа.

– О-ох, Наташа, Наташа! – вздохнула Вера, поднимаясь и еле бредя к лодке. – Что ты со мною делаешь!

– Да ну же, садитесь скорей! – повторила Наташа, нетерпеливо раскачивая лодку.

Мы с Мишей сели за весла; Вера, Соня, Лида и Петька разместились в середине, Наташа – у руля. Лодка, описав полукруг, выплыла на середину неподвижной реки; купальня медленно отошла назад и скрылась за выступом. На горе темнел сад, который теперь казался еще гуще, чем днем, а по ту сторону реки, над лугом, высоко в небе стоял месяц, окруженный нежно-синей каймою.

Лодка шла быстро; вода журчала под носом; не хотелось говорить, отдавшись здоровому ощущению мускульной работы и тишине ночи. Меж деревьев всем широким фасадом выглянул дом с белыми колоннами балкона; окна везде были темны: все уже спят. Слева выдвинулись липы и снова скрыли дом. Сад исчез назади; по обе стороны тянулись луга; берег черною полосой отражался в воде, а дальше по реке играл месяц.

– Ах, какая чудная луна! – томно вздохнула Вера. Соня засмеялась.

– Вот, смотри, Митя, она всегда такая: просто не может равнодушно видеть месяца. Раз мы с нею шли в Пожарске через мост; на небе луна, – тусклая, ничего хорошего; а Вера смотрит: «Ах, великолепная луна!..» Такая сентиментальная!

– Сентиментальная! А вот Наташа только что говорила, что я – рыба. Разве рыбы бывают сентиментальные? – спросила Вера с своею медленною и доброю улыбкою.

– Отчего же нет? Высунула рыба нос из воды, смотрит на луну: «Ах, ах! – великолепная луна!»

Соня сострила неожиданно для себя и залилась смехом. Я сложил весла и передохнул.

– Господа, давайте голоса ночи слушать, – предложила Наташа. – Миша, брось весла.

Лодка медленно проплыла несколько аршин, постепенно заворачивая вбок, и наконец остановилась. Все притихли. Две волны ударились о берега, и поверхность реки замерла. С луга тянуло запахом влажного сена, в Санине лаяли собаки. Где-то далеко заржала лошадь в ночном. Месяц слабо дрожал в синей воде, по поверхности реки расходились круги. Лодка повернула боком и совсем приблизилась к берегу. Дунул ветер и слабо зашелестел в осоке, где-то в траве вдруг забились муха.

Я закурил папиросу и стал держать горящую спичку над водой. Из черной глубины быстро вынырнула рыба, оторопело уставилась на огонь выпученными, глупыми глазами и, вильнув хвостом, юркнула назад. Все рассмеялись.

– Как Вера на луну! – сказала Лида, лукаво дрогнув бровью.

Все засмеялись сильнее, а Лида покраснела.

– Ну, господа, дальше можно ехать, – сумрачно проговорил Миша, все время зевавший. Он снова взялся за весла.

Наташа перебралась с кормы на середину лодки.

– Митя, расскажи, за что тебя со службы выгнали, – сказала она, с детскою ласкою заглядывая мне в глаза.

– За что выгнали? О голубушка, это история долгая...

– Ну, все-таки расскажи!..

Я стал рассказывать. Все теснее сдвинулись вокруг. Между прочим, рассказал я и о своей первой стычке с председателем, после которой я из «преданного своему делу врача» превратился в «наглого и неотесанного фрондера»; приехав в деревню, где был мой пункт, принци-

пал прислал мне следующую *собственноручную* записку: «Председатель управы желает видеть земского врача Чеканова; обедает у князя Серпуховского». Ну, я ему на обратной стороне его записки ответил: «Земский врач Чеканов не желает видеть председателя управы и обедает у себя дома».

Все рассмеялись.

– Что же он? – быстро спросила Наташа.

– Да ничего. Ответа моего он никому не мог показать, потому что тогда бы прочли и его письмо; ну, а так врачу не пишут.

– Я не понимаю, Митя, как можно было так ответить, – сказала Вера. – Ведь он же ваш начальник?

– Да ну, Вера! всегда вот такая! – нетерпеливо повела Наташа плечами. – Так что ж такое?

– Как – что ж такое? Вот из-за этого Митя потерял место. Хорошо еще, что он неженатый человек.

– Голубушка, Вера, и женатые отказывались от мест, – сказал я. – Читали вы в газетах о саратовской истории? Все врачи, как один человек, отказались. А нужно знать, какие это горькие бедняки были, многие с семьями, – подумать жутко!

Мы несколько времени плыли молча.

– Свобода вероисповедания... – задумчиво произнес Петька.

– К чему ты это сказал? – с усмешкою спросила Соня.

Петька помолчал.

– К чему я это, правда, сказал? – проговорил он с недоумевающей улыбкой. – А все-таки есть смысл.

– Какой же?

– Го-го!.. Какой! Свобода вероисповедания, – из-за нее в средние века сколько войн происходило.

– Ну, так что ж?

– Ну, так вот.

Я снова сел за весла. Лодка пошла быстрее. Наташа лихорадочно оживилась; она вдруг охватила обеими руками Веру и, хохоча, стала душить ее поцелуями. Вера крикнула, лодка накренилась и чуть не зачерпнула воды. Все сердито напали на Наташу; она, смеясь, села на корму и взялась за руль.

– Господи, вот сумасшедшая девчонка! Я так испугалась! – говорила Вера, оправляя прическу.

– Скорей, господа, скорей гребите! – говорила Наташа, откидывая распущенные волосы за спину.

Лодка вдруг с шуршащим шумом врезалась в тростник; нас обдало острым запахом аира, его початки закачались и раздались в стороны.

– Сильней гребите, сильней! – смеялась Наташа, нетерпеливо топая ногами. Весла путались в упругих корнях аира, лодка медленно двигалась вперед, окруженная сплошной стеною мясистых, острых, как иглы, стеблей – Ну вот, приехали! Вылезайте!

– Спорить трудно: действительно приехали! – засмеялся я.

Вера переглянулась с Лидой.

– Одн-нако! Довольно-таки по-суворовски! – сказала она, поднимаясь.

– Ничего! Суворов был умный человек. Вылезай! Я вас в грёковской роще ужином накормлю.

– Да, если так, то... Ай, Наташа, осторожнее! Не качай лодку!

Мы вышли на берег. Спуск весь зарос лозняком и тальником. Приходилось прокладывать дорогу сквозь чащу. Миша и Соня недовольно ворчали на Наташу; Вера шла покорно и только охала, когда оступалась о пенек или тянувшуюся по земле ветку. Петька зато был совершенно

доволен: он продирался сквозь кусты куда-то в сторону, вдоль реки, с величайшим удовольствием падал, опять поднимался и уходил все дальше.

– Не стоните, тут сейчас тропинка должна быть, – сказала Наташа.

Она остановилась и, подобравши волосы, широким узлом заколола их на затылке.

– Ах, Митя, если бы ты знал, как я рада, что ты приехал! – вдруг вполголоса сказала она и с быстрой, радостной улыбкой взглянула на меня из-под поднятой руки.

– Эй, вы... акафисты! – донесся из-за кустов голос Петьки. – Идите сюда: тропинка!

– Ну, слава богу! – облегченно вздохнула Соня, и все повернули на голос.

Мы поднялись по тропинке вверх. Над обрывом высились три молодых дубка, а дальше без конца тянулась во все стороны созревавшая рожь. Так и пахло в лицо теплом и простором. Внизу слабо дымилась неподвижная река.

– Ох, устала! – проговорила Вера, опускаясь на траву. – Господа, я не могу дальше идти, нужно отдохнуть... Ох! Садитесь!..

– Фу ты, безобразие! Как старуха, охает! – сказала Наташа. – Сколько раз ты сегодня охнула?

– Старость приходит, о-ох!.. – вздохнула Вера и засмеялась.

Опершись на локоть, она закинула голову кверху и стала смотреть в небо. Мы все тоже сели. Наташа стояла на самом краю обрыва и смотрела на реку.

Ветер слабо дул с запада; кругом медленно волновалась рожь. Наташа повернулась и поставила лицо навстречу ветру.

– Господи!.. Наташа, смотри, где ты стоишь! – испуганно вскрикнула Вера.

Край обрыва надтреснул, и Наташа стояла на земляной глыбе, нависшей над берегом. Наташа медленно посмотрела под ноги, потом на Веру; задорный бесенок глянул из ее глаз. Она качнулась, и глыба под нею дрогнула.

– Наташа, да сойди же сию минуту, – волновалась Вера.

– Ну, Верка, не сентиментальничай! – засмеялась Наташа, раскачиваясь на колыхавшейся глыбе.

– Ах, господи, бешеная девчонка!.. Наташа, ну ради бо-ога!

– Наташа, да ты вправду с ума сошла! – воскликнул я, поднимаясь.

Но в это время глыба сорвалась, и Наташа вместе с нею рухнула вниз. Вера и Соня истерически вскрикнули. Внизу затрещали кусты. Я бросился туда.

Наташа, оправляя платье, быстро выходила из кустов на тропинку. Одна щека ее разгорелась, глаза ярко блестели.

– Ну, можно ли, Наташа, так?!.. Что, ты больно ушиблась?

– Да ничего же, Митя, что ты! – ответила она, вспыхнув.

– Не может быть ничего: с такой высоты!.. Эх, Наташа! Если ушиблась, так скажи же.

– Ах, Митя, какой ты чудак! – рассмеялась она. – Ну, что это – из-за каждого пустяка такую тревогу подымать.

Она быстро стала подниматься по тропинке вверх.

– Это бог знает что такое! – сердито встретила ее Соня. – Право, ведь всему есть мера. Этакая глупость!.. Недоставало, чтобы ты себе сломала ногу.

Наташа широко раскрыла глаза и медленно спросила:

– Кому до этого дело?

– Ах, господи! – всплеснула Вера руками. – Вот меня всегда в таких случаях возмущает Наташа!.. «Кому дело»? Папе и маме твоим дело, нам всем дело!.. Как это так всегда, постоянно и постоянно о себе одной думать!

– Всегда, постоянно и постоянно... – благоговейно повторил Петька и задумался, словно стараясь вникнуть в глубокий смысл этих слов.

– Ну, ну! *просто* – постоянно! – улыбнулась Вера.

Петька захихикал.

– Всегда, постоянно и постоянно! Как хорошо выходит: всегда, постоянно... и постоянно!

– Ну, господа, довольно сидеть! Идем дальше! – сказала Наташа. – Вот так, прямо через рожь, всего полверсты будет до роши.

– О Петя, Петя! Всегда-то ты меня обижаешь! – вздохнула Вера, опираясь о его плечо и поднимаясь.

Мы пошли через рожь по широкой меже, заросшей полынью и полевой рябинкой.

– Вот и дома тоже, когда я рассержусь, я начинаю говорить очень неправильно, – сказала Вера. – И мальчики сейчас этим пользуются.

– Вера, неужели вы тоже умеете сердиться? – удивленно спросил я.

– О, да еще как! – улыбнулась она. – Только мальчики совсем не боятся. Я заговорюсь, скажу что-нибудь, – они сейчас подхватят, я и. рассмеюсь. Особенно Саша, – он такой остроумный; и у него совсем какой-то особенный юмор.

Вера начала рассказывать о своих братьях. Знала она их удивительно: столько в ее рассказах сказалось наблюдательности, столько любви и тонкого психологического чутья, что я слушал с действительным интересом. Остальные довольно недвусмысленно выражали желание переменить разговор.

– Ну, ну, я сейчас кончу! – торопливо возражала Вера и продолжала рассказывать без конца.

Вдруг в темноте раздался звонкий подзатыльник, что-то охнуло, и Петька кубарем покати́лся в рожь.

– Дурак! – послышалось из ржи.

Миша гневно крикнул:

– Я тебе еще не так влеплю, дрянь!

Петька вышел на межу и стал счищать с себя пыль.

– Думает, что сильнее, старший братец, так может, что хочет, делать! – сердился он.

– Да в чем дело? Миша, за что ты его? – спросила Соня.

– Черт знает что такое! Иду, – вдруг он меня за нос хватает!.. Попробуй-ка еще раз!

– А я почему знал, что это твой нос? Ты бы сказал. А то я вижу, морква какая-то торчит, – длинная, мокрая... Мне, конечно, интересно.

– Глупо-с, Петенька! – ядовито заметил Миша.

– Склизкая такая, холодная...

Кругом смеялись. Петька был отомщен. Миша презрительно процедил:

– Шут гороховый!

– О-о-о-хо-хо! – глубоко вздохнул Петька, подтянул брюки и огляделся по сторонам. – У Наташи в глазах две курсистки сидят, – объявил он. – В каждом глазу по курсистке: одна в очках, другая без очков.

– Ну, оставь, Петя! – недовольно остановила Наташа.

– А ты разве на курсы собираешься? – быстро спросил я.

– Н-нет... не знаю, – ответила она и взглянула вперед. – Вот она, грёковская роща!

Средь светлой ржи, отлого тянувшейся вниз, широкою, неправильною полосой вилась грёковская лощина; на склоне ее, вся залитая лунным светом, темнела небольшая осиновая роща.

Лощинка была уже выкошена. Ручей, густо заросший тростником и резикой, сонно журчал в темноте; под обрывом близ омута что-то однообразно, чуть слышно пищало в воде. Из глубины лощины тянуло влажным, пахучим холодком.

Мы перебрались через ручей и вошли в рощу. В середине ее была сажалка, вся сплошь зацветшая. Наташа спустилась к самому ее берегу и из глубины развесистого липового куста достала небольшой холстинковый мешочек.

– Господа, костер нужно будет разводить! Вот вам ужин, – с торжеством заявила она.

В мешочке оказалось десятка три сырых картофелин, четыре ржанных лепешки и соль. Все расхохотались.

– Откуда это у тебя тут?

– Очень просто: я часто хожу сюда читать; проголодаюсь, – разведу костер, спеку картофелю и позавтракаю.

– Г-ге-ге! Это нужно вперед знать, – сказал Петька, почесав за ухом.

Все рассыпались по роще, ломая для костра нижние сухие сучья осин. Роща огласилась треском, говором и смехом. Сучья стаскивались к берегу сажалки, где Вера и Соня разводили костер. Огонь запрыгал по трещавшим сучьям, освещая кусты и нижние ветви ближайших осин; между вершинами синело темное звездное небо; с костра вместе с дымом срывались искры и гасли далеко вверху. Вера отгребла в сторону горячий уголь и положила в него картофелины.

Сначала все шутили и смеялись, потом примолкли. Костер догорал, все было съедено. Петька, положив вихрастую голову на колени Веры, задремал; она с материнской заботливостью укутала его своим платком и сидела не шевелясь. И опять, как тогда за роялем, ее лицо стало красиво и одухотворенно.

Мы долго сидели у костра; под пеплом бегали огненные змейки, листья осин слабо шумели над головой. Я рассказывал о своей службе, о голоде и голодном тифе, о том, как жалко было при этом положение нас, врачей: требовалось лишь одно – кормить, получше кормить здоровых, чтоб сделать их более устойчивыми против заражения; но пособий едва хватало на то, чтоб не дать им умереть с голоду. И вот одного за другим валила страшная болезнь, а мы беспомощно стояли перед нею со своими ненужными лекарствами... Вера сидела, задумчиво глядя на лицо спящего Петьки; кажется, она мало слушала: мысли ее были далеко, в Пожарске, и она думала о своих братьях.

Наконец мы собрались домой. Месяц уже давно сел, на востоке появилась светлая полоска; лощина тонула в белом тумане, и становилось холодно. Было поздно, приходилось возвращаться домой по самой короткой дороге; Наташа взялась сходить завтра утром за лодкой и пригнать ее домой. Мы поднялись на гору, прошли через рожь, потом долго шли по пару и вышли наконец на торную дорогу; круто обогнув крестьянские овсы, она мимо березовой рощи спускалась вниз к Большому лугу. Весь луг был покрыт густым туманом, и перед нами как будто медленно колыхалось огромное озеро. Мы спустились в это туманное озеро. Грудь теснило сыростью, тяжело было дышать; на траве по бокам дороги белела роса. Мы шли, рассекая туман.

– Слушай! – сказала вдруг Наташа, схватив меня за локоть.

Мы остановились. Тишина кругом была мертвая; и вдруг близ рощи, в овсах, робко, неуверенно зазвенел жаворонок. Его трель слабо оборвалась в сыром воздухе, и опять все смолкло, и стало еще тише.

Вдали начали вырисовываться в тумане темные силуэты деревьев и крыши изб; у околицы тявкнула собака. Мы поднялись по деревенской улице и вошли во двор. Здесь тумана уже не было; крыша сарая резко чернела на светлевшем небе; от скотного двора несло теплом и запахом навоза, там слышались мычание и глухой топот. Собаки спали вокруг крыльца.

– Ну, господа, потише теперь, а то всех разбудим! – предупредил я.

В голове звенело, нервы были напряжены; у всех глаза странно блестели, и опять стало весело.

– Что ж, Митя, будем мы молоко пить? – спросила Наташа.

– Уж лучше не надо: разбудим мы всех.

– А мы вот как сделаем: мы к тебе наверх молоко принесем и там будем пить.

Мысль эту все одобрили. Мы пробрались наверх. За молоком откомандировали, конечно, Наташу. Она принесла огромную кринку молока и целый ситный хлеб.

– Господа, извольте только все молоко выпить! – объявила она.

– Почему это?

– А то мама увидит, что не все выпили, и вперед будет меньше оставлять.

– Эге! На этом основании, значит, каждый раз придется все выпивать!

Однако через четверть часа кувшин был уже пуст. Теперь, когда шуметь было нельзя, всеми овладело веселье неудержимое; каждое замечание, каждое слово приобретало необыкновенно смешное значение; все крепились, убеждали друг друга не смеяться, закусывали губы – и все-таки смеялись без конца... Мне с трудом удалось их выпроводить.

Однако засиделся же я! Солнце встало и косыми лучами скользит по кирпичной стене сарая, росистый сад полон стрекотаньем и чириканьем; старик Гаврила, с угрюмым, сонным лицом, запрягает в бочку лошадь, чтоб ехать за водою.

Спать!

*21 июня*

Проснулся я в начале двенадцатого и долго еще лежал в постели. В комнате полумрак, яркое полуденное солнце пробивается сквозь занавески и играет на стекле графина; тихо; снизу издали доносятся звуки рояля... Чувствуешь себя здоровым и бодрым, на душе так хорошо, хочется улыбаться всему. Право, вовсе не трудно быть счастливым!

Миша и Петя пришли звать меня купаться. Я оделся, мы наперегонки сбежали к реке. Небо – синее и горячее, солнце жжет; тенистый сад на горе, словно изнемогши от жары, неподвижно дремлет. Но вода еще свежа, она охватывает тело мягкой, нежной прохладой; плывешь, еле двигая руками и ногами, в этой прозрачно-зеленой, далеко вглубь освещенной солнцем воде. Мы купались около часа, пока не зазвонили к завтраку. Почти все уж были в сборе; на столе благодать: пирог, варенец, рубцы, редиска, ветчина, свежие огурцы. Я опять сидел возле дяди, и он любезно сообщил мне несколько очень новых и интересных сведений; что гречневая каша – национальное русское блюдо, что есть даже пословица: «Каша – мать наша», что немцы предпочитают пиво, а русские – водку, и т. п.

Вошла Наташа и села к столу.

– Что ж ты, Наташа, с Митею не здороваешься? – сказала Софья Алексеевна. – Ведь он с твоими «принципами» не знаком и может обидеться.

По губам Наташи скользнула быстрая усмешка; она протянула мне руку.

– У тебя какие же на этот счет «принципы»? – спросил я.

Наташа засмеялась.

– Я, не знаю, о каких мама принципах говорит, – ответила она, садясь рядом со мною. – А только... Смотри: мы восемь часов назад виделись; если люди днем восемь часов не видятся, то ничего, а если они эти восемь часов спали, то нужно целоваться или руку пожимать. Ведь, правда, смешно?

– Ничего смешного нет, – поучающе возразила Софья Алексеевна. – Это известное условие между людьми, которое...

– Нам все смешно, нам все решительно смешно! – вдруг вскипятился дядя, враждебно глядя на Наташу. – Здороваться и прощаться – это предрассудок; вести себя, как прилично взрослой девушке, – предрассудок... А вот начитаться разных книжонок и без критики, без рассуждения поступать по ним – это не предрассудок! Это идейно и благородно.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.